

Герберт  
СПЕНСЕР



СОЦИАЛЬНАЯ  
СТАТИКА

II  
ТОМ

Политические сочинения

Герберт Спенсер

**Политические сочинения.  
Том II. Социальная статика**

«Интермедиатор»

УДК 316.244+30  
ББК 60.5

**Спенсер Г.**

Политические сочинения. Том II. Социальная статика /  
Г. Спенсер — «Интермедиатор», — (Политические сочинения)

ISBN 978-5-91603-668-8

«Социальная статика» — первое политическое сочинение Г. Спенсера. В нем автор описывает «условия равновесия в совершенном обществе» (статическое состояние). Спорадически в книге затрагиваются и вопросы социальной динамики — обсуждаются силы, посредством которых общество приближается к совершенству. Спенсер считал, что развитие человеческого общества происходит на основе неизменных естественных законов, а действия правительства должны быть ограничены проведением в жизнь этих естественных законов. В «Социальной статике» Спенсер впервые сформулировал свой знаменитый принцип равной свободы, согласно которому «свобода каждого должна быть ограничена свободой всех». Автор пытается показать, что «путем строго сообразования с законом равной свободы лучше достигается в обществе не только стройность сотрудничества, но и производительность сотрудничества».

УДК 316.244+30  
ББК 60.5

ISBN 978-5-91603-668-8

© Спенсер Г.  
© Интермедиатор

## Содержание

Марк Салливан	6
Предисловие автора	7
Предисловие	8
Введение	9
Утилитарная философия	9
Учение о нравственном чувстве	19
Лемма первая	28
Лемма вторая	33
Конец ознакомительного фрагмента.	37

# Герберт Спенсер

## Социальная статика

### *Изложение социальных законов, обуславливающих счастье человечества*

Политические сочинения в 5 т. Т. 2.

В соответствии со ст. 1299 и 1301 ГК РФ при устранении ограничений, установленных техническими средствами защиты авторских прав, правообладатель вправе требовать от нарушителя возмещения убытков или выплаты компенсации.

© ООО «ИД «Социум», 2014

\* \* \*

## Марк Салливан

### Предисловие

В конце XX в. может показаться странным, что интерес к политической философии и дискуссиям века XIX-го до сих пор не угасает. Тем не менее это так. Все интересующиеся социальными науками продолжают изучать идеи Герберта Спенсера как в стенах академических учреждений, так и за их пределами.

Нельзя назвать однозначно положительным явлением то, что после краха марксистского государственного социализма в странах Европы и в России поиск социальных, политических и экономических идеалов стал восприниматься как чистый утопизм. Нам осталось обсуждать альтернативы – но не наилучшие из возможных, а «устраивающие большинство». Столетие тому назад ярлык «анархиста» автоматически исключал человека из поля публичных дискуссий, и жертвами этой стигматизации вольно или невольно стали многие последователи Спенсера. Затем для подавления свободы дискуссий и усиления конформности сознания использовали эпитет «коммунист». Сегодня эстафета изгойства перешла к «либералам». Надеюсь, мы все же не вернемся ко временам истерии по поводу «красной угрозы», которую сегодня, видимо, следует назвать «либеральной угрозой».

«Социальная статика» является безусловно либеральным сочинением, причем сочинением в духе классического либерализма. Она посвящена рассмотрению качества свободы и равенства в свободе. В 1850 г., когда «Социальная статика» была издана впервые, Спенсер был восходящей звездой классического либерализма, продолжателем традиций Джона Локка, Адама Смита, Томаса Пейна и Мэри Уоллстоункрафт, и достиг пика своего творчества в одно время с деятельностью Джона Стюарта Милля и Генри Джорджа. В течение XX в. эта традиция постепенно приходила в упадок, поддерживаясь лишь трудами узкого круга «джорджистов», и стала вновь набирать силу благодаря творчеству современных либертарианцев.

Поскольку социальный идеализм ныне признан «утопичным», труды либеральных философов в традиции естественного права часто называют старомодными и приличествующими лишь XIX в. Мы, впрочем, не станем подпадать под влияние этой моды и вспомним слова, произнесенные Генри Джорджем в его речи перед студентами Калифорнийского университета в 1877 г.: «Маколей был прав – если бы в отрицании закона всемирного тяготения можно было отыскать денежный интерес, сегодня даже самые очевидные аксиомы физики нашли бы немало оппонентов».

Книга, которую вы прочтете, не о тяготении; она о других естественных законах, которые занимают умы человечества не одну тысячу лет, – поскольку принятие их существования в любом обществе низвергнет всемогущих, вернет достоинство униженным и «распространит дело свободы по всей земле».

*Марк Салливан,  
июнь 1995 г.*

## Предисловие автора к американскому изданию

Автор желает, чтобы новое издание «Социальной статики», которое выпускается теперь в свет для американской публики, не принималось за вполне точное выражение его настоящих взглядов на вещи. Учение, изложенное в этом сочинении четырнадцать лет тому назад, при первоначальном его обнародовании значительно развилось в сознании автора в течение этого времени и в некоторых отношениях даже видоизменилось. Автор и в настоящее время считает справедливыми руководящие начала, развитые на страницах этой книги, но он не во всех случаях разделяет применение этих начал в частностях.

Основные начала нравственности, изложенные в первой части и в начальных главах второй, он считает только предварительным очерком того, что, по его мнению, составляет сущность и истинный смысл нравственных принципов. Во всех тех отношениях, в которых выводы развиты, они по существу верны, но разработаны слишком недостаточно и составляют только часть тех оснований, на которых должна быть построена научная система этики.

Выводы, сделанные во второй части, почти во всех отношениях вполне согласны с современными взглядами автора; но если бы ему пришлось в настоящее время излагать свои мысли по этим предметам, то он в некоторых случаях выразил бы их совершенно иначе. В особенности главы «О правах женщин» и «О правах детей» подверглись бы таким изменениям, которые, сохраняя положения и выводы в прежней их силе, придали бы другой вид их логическому построению.

То же можно сказать и о выводах, сделанных в третьей части. Автор разделяет и до настоящего времени выраженные в ней общие взгляды на политические права, на государственные отправления и на пределы, в которых должна вращаться государственная деятельность. Но если бы ему пришлось излагать все это вновь, он обратил бы несравненно больше внимания на то, что все политические учреждения имеют только временное значение и что вследствие этого некоторые из подобных установлений если и имеют *относительные* достоинства, то не могут иметь никаких притязаний на *абсолютное* совершенство.

Если спросят автора, почему он не изменил своего сочинения так, чтобы оно вполне выражало его современные мнения, ему останется ответить, что он не мог бы исполнить этого удовлетворительно, не приложив к нему такого количества труда, которое заставило бы его прекратить на время свои работы над «Системой философии». Если ему удастся достигнуть заключительных томов этой системы, он разовьет в них выводы, относительно которых «Социальная статика» будет только общим очерком.

Лондон  
16 ноября 1864 года

## Предисловие

Тон и способ изложения, принятый местами на последующих страницах, может быть, вызовет замечания критики, потому что он в некоторых отношениях не похож на предшествовавшие ему работы по тому же предмету. Исход дела покажет, благоразумно ли поступил автор, внося нововведения в сферу установленного прежними приемами. Он не отступал от старого без достаточных причин; и если он это делал, то делал именно в том убеждении, что книга предназначена иметь влияние на деятельность людей и что, следовательно, самый лучший способ для ее сочинений – тот, которым всего более достигается такая цель.

Проявления чувства, допущенные местами в этом сочинении, могут неприятно поразить и показаться неуместными при чисто научном изложении; не следует, однако же, упускать из виду, что на той ступени развития, на которой мы находимся, люди редко руководствуются исключительно логическими соображениями. Соображения эти для того, чтобы произвести впечатление, должны быть подкреплены явными или скрытыми обращениями к чувству. Если обращения к чувству *дополняют*, но не *заменяют* логических выводов, то против них нельзя сделать никакого основательного возражения. Читатель увидит, что различные выводы, предложенные на его обсуждение в этом сочинении, имеют в своем основании исключительно общее и безличное мышление, и *только* с этой точки зрения они могут быть рассматриваемы. Если для усиления их впечатления на большинство делаются здесь посредственные обращения к симпатиям, то этим не только не ослабляется, но скорее увеличивается сила аргументов.

Может быть, легкое изложение, допущенное в некоторых случаях, будет признано несоответствующим важности предмета. В оправдание такого приема можно сказать, что сухая сжатость и точность, принятая, по обычаю, в философских сочинениях, порождает в них монотонность, неодолимую для большинства читателей. Автор согласен, что строгое изложение имеет свои преимущества, но он предпочел пожертвовать отчасти этими достоинствами в надежде сделать сочинение интересным для большего числа читателей.

*Лондон*  
*декабрь 1850 года*

## Введение

### Утилитарная философия

§ 1. «Дайте нам руководителя, – кричат люди философу, – мы хотим вырваться из этой жалкой обстановки, среди которой мы погрязаем. В нашем воображении постоянно зарождаются образы лучшего, и мы скорбим о них, но все наши усилия обратить их в действительность остаются бесплодными. Нас утомляют эти постоянные ошибки; укажите нам пути, которыми мы можем достигнуть исполнения наших желаний».

«Что полезно, то справедливо», – вот один из последних, в числе многих, ответов на этот призыв.

«Совершенно верно, – возражают вопросители, – для божества *справедливость и польза*, без сомнения, однозначные выражения; но для нас остается неразрешенным вопрос: которое из них предшествует и которое должно служить выводом. Если согласиться с вашим предположением, что справедливость составляет неизвестную величину, а польза – известную и данную, то предложение ваше может послужить делу. Но в том-то и беда, что горький опыт убедил нас, что обе эти величины одинаково неизвестны и неопределенны. Наконец, в нас зарождается подозрение, что определение справедливости даже легче, чем определение пользы, и что удобнее было бы ваше предложение преобразить в противоположное и выразить так: что справедливо, то полезно».

«Держитесь правила наибольшего счастья для наибольшего числа людей», – так разрешает сомнение другой авторитет.

Ему отвечают, что это точно так же, как и предыдущее, нельзя даже вовсе и называть руководящим правилом: это скорее выражение задачи, подлежащей разрешению. Ваше «наибольшее счастье» – это именно и есть то, что мы так долго и так бесплодно разыскиваем; мы только не давали этого названия предмету наших желаний. Вы не говорите нам ничего нового, вы только придумываете слова, чтобы выразить нашу потребность. То, что вы называете ответом, это наш вопрос, выраженный в обратной форме. Если такова ваша философия, то она, без сомнения, одно суетное и ничтожное разглагольствование; она не более как эхо, повторяющее вопросы.

«Имейте же немного терпения, – возражает моралист, – дайте мне высказать мое мнение о том, каким образом можно обеспечить наибольшее счастье за наибольшим числом из живущих».

«Опять-таки вы не понимаете нашего требования, – восклицают возражающие, – нам нужны не личные мнения, а что-нибудь другое. Этими мнениями мы уже пресытились. Вся масса пустого прожектерства касательно общего блага была основана на личных мнениях; у нас нет ни малейшей гарантии, что ваш план не прибавит нового звена к перечню прежних ошибок. Придумали ли вы способ для составления безошибочного суждения? Если нет, то мы видим одно: что вы настолько же пребываете во тьме, насколько и мы. Совершенно справедливо, что вы приобрели более ясный взгляд на цель, к которой мы должны стремиться; что же касается до пути, которым мы должны идти, то ваше предложение высказать *мнение* показывает уже, что вы в этом отношении не знаете ничего более определенного, чем мы. Мы сомневаемся в вашем положении, потому что оно не включает в себе того, в чем мы нуждаемся, т. е. руководителя; мы сомневаемся в нем потому, что оно не указывает ни одного верного способа для обеспечения за нами предмета наших стремлений; мы сомневаемся потому, что оно не создает veto по отношению к ложной политике; оно настолько же допускает хороший, насколько и дурной образ действия, если только действующие признают его ведущим к достижению пред-

писанной цели. Ваши учения о пользе, об общем благе, о наибольшем счастье наибольшего числа людей не заключают в себе единообразного предписания, удобного для применения в практической жизни. Пусть правители будут убеждены (или сумеют подать вид, что они убеждены), что их меры послужат благу общества, и ваша философия останется немой ввиду самого крайнего безрассудства и самых мрачных преступлений. Это не может нас удовлетворить. Мы ищем учения, которое бы нам давало положительный ответ, когда мы спросим его о проступке: «Хорошо это или нет?» Нам не нужно мировоззрения, которое отвечало подобно вам: «Да, это хорошо, если оно способно вас облагодетельствовать». Мы вам будем благодарны, когда вы для нас создадите именно то, чего мы ищем, когда вы нам дадите аксиомы, из которых мы в состоянии будем выводить ряд заключений до тех пор, пока с математической точностью не разрешим все наши затруднения. Если вы не в состоянии дать нам такого мировоззрения, мы должны будем искать его в другом месте».

В свою защиту философы говорят, что такое требование неблагоприятно. Они подвергают сомнению возможность научно точных правил нравственности. Независимо от этого они утверждают, что их система достаточна для практических целей. Они ясно определили цель, к которой следует стремиться. Они изучили пространство, которое лежит между этой целью и нами. Они полагают, что отыскивали лучшую дорогу. Наконец, они добровольно приняли на себя роль пионеров. После этого они думают, что ими сделано все, что можно от них требовать, что критику оппозиции они могут считать придиричливой и возражения ее пустыми. Вникнем внимательно в этот спор.

**§ 2.** Правило, принцип или аксиома имеют значение только тогда, когда слова, которыми они выражены, заключают в себе точно определенную мысль. Это справедливо даже и тогда, когда подобное правило или аксиома будут удовлетворительны в других отношениях. Выражения, употребленные в этом случае, должны иметь в языке точный и притом один и тот же всеми признанный смысл. В противном случае предложение будет подвержено стольким разнообразным толкованиям, что оно утратит всякое право называться правилом. Таким образом, когда философ провозглашал правило «наибольшего счастья для наибольшего числа живущих» и признавал его руководителем общественной нравственности, то он должен был предполагать, что понятие «наибольшего счастья» определяется всем человечеством единообразно и точно.

Такое предложение, однако же, заключало в себе одну из самых злополучных ошибок; мерка, которой люди меряют счастье, бесконечно разнообразна – это факт, доказанный самым осязательным образом. Во все времена, между всеми народами и у каждого класса людей на этот предмет существовали свои особые взгляды. Для странствующего цыгана домашний очаг оседлого человека скучен и отвратителен; швейцарец был бы несчастлив без такого очага. Прогресс необходим для благополучия англосакса; эскимос доволен своей грязной бедностью, не имеет никаких дальнейших желаний и остается тем же, чем он был во времена Тацита. Ирландец находит удовольствие в строю; китайцу нужны процессии и церемонии; вялый и апатичный житель Явы приходит в шумный восторг при виде петушиного боя. Рай еврея – это «град, наполненный золотом и драгоценными камнями, обладающий сверхъестественным изобилием в хлебе и вине»; рай турка – это гарем, обитаемый гуриями; рай краснокожего Америки – это «благодатная для охоты местность»; в скандинавском раю каждый день сражение и раны излечиваются чудотворной силой; австралиец надеется, что после смерти он «обгонит белого и будет иметь множество мелкой монеты». Если мы от народов перейдем к отдельным личностям, то увидим, что Людовик XVI признавал «высшим счастьем» размышлять за механическим занятием; а его преемник<sup>1</sup> считал таким счастьем – читать, создавая империи. Ликург

<sup>1</sup> его преемник... – Людовик XVIII. (Здесь и далее курсивные комментарии составлены Александрой Смирновой.)

находил, что для человеческого счастья более всего необходимо полнейшее физическое развитие; Плотин, напротив, был до того идеален в своих стремлениях, что стыдился своего тела. Множество противоречащих ответов, данных греческими мыслителями на вопрос о том, в чем заключается счастье, подавало повод к устаревшим и опошлившимся ныне сравнениям. Но и теперь мы не находим между нами в этом отношении большего единомыслия. Для скупого Эльва копить деньги составляло единственную радость жизни; Дей, человеколюбивый автор «Сандофора и Мертона», находил в раздаче денег единственное приятное из них употребление. Сельское уединение, книги и друг составляют пожелания поэта; хлыщ стремится, напротив, к обширному кругу знатных знакомых, к ложе в опере. Стремления купца и артиста менее всего похожи друг на друга; если бы мы сравнили воздушные замки философа и земледельца, мы бы нашли большую разницу в их архитектуре.

Обобщая эти факты, мы найдем, что личная мера «наибольшего счастья» имеет так же мало определенного, как и другие проявления человеческой природы. Несходство во мнениях по этому предмету между различными нациями достаточно очевидно. Сравнивая современных евреев с евреями времен патриархов, можно убедиться, что идеал благополучия изменяется и в среде той же самой расы. Люди одного общества не согласны между собой по этому вопросу. Наконец, если мы сравним желание жадного школьника со стремлениями презирающего земные блага трансценденталиста, в которого он впоследствии превратится, то не найдем в этом отношении и тени постоянства в одном и том же индивидууме. Можно сказать, что не только каждая эпоха и каждый народ имеют свои понятия о счастье, но едва ли возможно найти двух человек, которые имели бы на этот предмет тождественные взгляды; далее можно утверждать, что понятия об этом предмете различны у одного и того же человека в различные периоды жизни.

Вывод из всего этого довольно прост. Счастье состоит в удовлетворенном состоянии всех способностей. Удовлетворение способности заключается в ее упражнении. Чтобы это упражнение было приятно, необходимо, чтобы оно соответствовало силе способности; недостаточное упражнение производит неудовольствие, чрезмерное – порождает утомление. Итак, для полного счастья необходимо, чтобы все способности упражнялись соразмерно со степенью их развития; идеально совершенное расположение обстоятельств таким образом, чтобы обеспечить именно такое упражнение всех способностей, и порождает меру «наибольшего счастья»; нет, однако же, двух людей, умы которых представляли бы для этого тождественную комбинацию элементов. Двойников нет на свете. У каждого человека желания имеют свой собственный вес. Условия, приспособленные к тому, чтобы породить наибольшее благополучие одного, не могут дать вполне тот же результат по отношению к другому. Следовательно, и понятие о счастье должно изменяться сообразно с характером и расположением людей; ясно, что оно должно изменяться до бесконечности.

Все это приводит нас к неизбежному заключению, что истинное понятие о том, в чем должна заключаться человеческая жизнь, возможно только для идеального человека. Мы можем делать об этом предмете только приблизительно верные заключения; для полного понимания, в чем должны заключаться истинные человеческие стремления, необходимо, чтобы человек, составляющий себе это понятие, имел в своей душе все чувства и способности в совершенно нормальных пропорциях. Поэтому немудрено, если Палеи и Бентамы делали бесплодные попытки создать в этом отношении правильное определение. Вопрос этот заключает в себе одну из тех загадок, в смысл которых люди постоянно стремятся проникнуть, но где они постоянно обрываются. Это та неразрешимая задача, которую созданное воображением древних сфинксоподобное существо задает каждому новому пришельцу для того, чтобы пожрать его, не получив ответа. Тут до сих пор еще не появлялось Эдипа, и нет даже и признаков его будущего появления.

Конечно, можно утверждать, что все это слишком большие тонкости и что для практических целей мы достаточно хорошо понимаем, что значит «наибольшее счастье». Такое мнение, однако, легко, хотя и бесполезно, опровергнуть, потому что спорщикам, высказывающимся подобным образом, нетрудно указать множество вопросов, где людьми менее всего обнаруживается это предполагаемое в них единомыслие. Например:

– Каким образом нужно определить удовлетворение между душевными и телесными потребностями для того, чтобы достигнуть «наибольшего счастья»? Есть предел, до которого счастье увеличивается возвышением душевной деятельности; за этим пределом такая деятельность производит более страданий, чем удовольствия. Где же этот предел? Есть люди, которые, кажется, полагают, что развитие интеллектуальных сил и удовольствия, которые от этого происходят, едва ли могут быть поведены слишком далеко. Другие же утверждают, что в среде образованных классов общества душевное возбуждение зашло уже слишком далеко и что можно было бы достигнуть большей меры удовольствия, если бы больше времени посвящалось удовлетворению животных отправления. Если придерживаться правила достижения «наибольшего счастья», то необходимо решить, которое из этих мнений заключает в себе истину; затем нужно обозначить точный предел между нормальным употреблением и злоупотреблением каждой способности.

– Что составляет более существенный элемент желаемого счастья – удовлетворение или стремление? Обыкновенно считают несомненным, что счастье заключается в удовлетворении. Удовлетворение считается наиболее существенным для благосостояния. Есть, однако же, люди, которые утверждают, что, не существуй неудовлетворения, мы были бы до сих пор дикими. По их мнению, неудовлетворение – величайший стимул для прогресса. Они утверждают даже, что если бы удовольствие было общим правилом, то общество тотчас же начало бы приходить в упадок. Необходимо согласиться с этими противоречиями.

– Затем, что следует понимать под словом «польза», этим синонимом выражения «наибольшее счастье»? Миллионы отнесут это слово к тем предметам, которые посредственно или непосредственно удовлетворяют телесным потребностям, они заключат его в пределы народной поговорки «помогите наполнить горшок для пищи» («help to get something to put in the pot»). Другие полагают, что умственное развитие носит цель в самом себе, независимо от так называемых практических результатов; они стремятся преподавать астрономию, сравнительную анатомию, этнографию и подобные науки наряду с логикой и метафизикой. Некоторые из римских писателей считали художества положительно вредными, теперь же многие находят полезным занятие поэзией, живописью, скульптурой, декоративным искусством и вообще всем тем, что развивает вкус и делает его утонченным. Существует крайняя партия, которая утверждает, что на одну степень с ними следует поставить музыку, танцы, драматическое искусство и все то, что называется обыкновенно развлечениями. Вместо всей этой разноголосицы мы должны бы иметь единогласие.

– Следует ли нам держаться учения людей, которые находят счастье в том, чтобы в возможно больших размерах пользоваться благами и удовольствиями этой жизни, или мы должны примкнуть к людям, которые ищут его в том, чтобы предвкусить блаженство будущей жизни? Если мы захотим примирить эти два направления и скажем, что нужно стремиться и к тому, и к другому, то в каких же размерах нужно сообразовать свою деятельность с каждым из этих направлений?

– Что должны мы думать о нашем веке, жадном до богатства? Как должны мы смотреть на то, что у нас все время и вся энергия поглощаются деловой жизнью, что ум наш делается рабом для удовлетворения потребностей тела, что мы растрачиваем всю жизнь лишь для того, чтобы приобрести средства жить? Следует ли все это считать наибольшим счастьем и действовать сообразно с таким мнением? Или мы должны руководствоваться предположением, что на все

это следует смотреть как на прозорливость куколки, уподобляющей материал для развития насекомого?

Подобных неразрешенных вопросов можно задавать бесконечное множество. Следовательно, с теоретической точки зрения не только невозможно достигнуть согласия относительно средств для доставления людям «наибольшего счастья», но ясно также, что во всех тех случаях, которые требуют определенных понятий об этом наибольшем счастье, люди друг с другом вполне расходятся.

Таким образом, наш кормчий, направляя наш путь к этому так называемому «наибольшему счастью наибольшего числа живущих», не допускает до нашего слуха обетованное слово и не исполняет возбужденных им надежд. То, что он показывает в свой телескоп, это *fata morgana*<sup>2</sup>, а не обетованная земля. Истинная пристань, к которой мы стремимся, лежит далеко за горизонтом, и никто еще не видел ее. Она за пределом зрения всякого наблюдателя, как бы он ни был дальнзорок. Не зрение, а вера должна быть нашим руководителем. Мы не можем оставаться без компаса.

§ 3. Основные положения философии пользы даже и тогда имели бы слабые стороны, если бы они не уничтожались неопределенностью их выражений. Если даже предположить, что цель пожеланий, т. е. «наибольшее счастье», правильно понимается, что все одинаково разумеют и его сущность, и его природу, что направление, в котором она находится, удовлетворительно определено, даже и в таком случае остается неразрешенным вопрос, возможно ли человеческому уму, предоставленному самому себе, определить, какими путями он может достигнуть этой цели, и возможна ли для такого определения хоть сколько-нибудь удовлетворительная точность. Ежедневный опыт показывает, что та же самая неопределенность существует как относительно цели, которая должна быть достигнута, так и относительно истинно верных приемов, которые должны быть употреблены для этого достижения, если цель известна.

Во время своего стремления к постепенному достижению различных частей великого целого, которое называется «наибольшим счастьем», люди менее всего имели «удачу»; меры, которые обещали всего больше хорошего, обыкновенно превращались в величайшие ошибки. Возьмем несколько случаев из действительности.

В Баварии было сделано постановление, что ни один брак не может быть дозволен между лицами, не имеющими капитала, за исключением случаев, когда власти убедятся, что желающие жениться «имеют основательную надежду обеспечить своих детей». Такое правило, безо всякого сомнения, имело в виду общественное благо и хотело положить предел легкомысленным союзам и чрезмерному увеличению населения. Цель эту многие политики признают похвальной, а средство они найдут вполне приспособленным к ее достижению. Это, по-видимому, остроумное средство, однако же, менее всего привело к цели; оказалось, что в главном городе государства, в Мюнхене, наполовину родилось незаконных детей!

Весьма важные причины и вполне достаточные основания побудили наше правительство создать на берегах Африки вооруженную силу для того, чтобы воспрепятствовать торговле невольниками. Можно ли было для «наибольшего счастья» найти что-нибудь более существенно необходимое, чем уничтожение этого возмутительного торга? Можно ли было ожидать, что эта цель не была достигнута вполне или отчасти с помощью сорока военных судов, содержание которых стоило ежегодно 700 000 ф. ст.? Результат оказался, однако же, менее всего удовлетворительным. Когда аболиционисты Англии защищали эту меру, они не полагали, что она не только не предупредит торговлю рабами, но что она увеличит ее ужасы, очень мало способствуя уменьшению ее размеров. Им не приходило в голову, что она породит быстрые суда для перевозки негров с палубами, между которыми расстояние – один фут и шесть дюймов.

---

<sup>2</sup> *фата-моргана* – мираж, при котором оказываются видимыми предметы, скрытые за горизонтом.

мов<sup>3</sup>, что люди будут умирать от задушения в таких помещениях, что они произведут ужасные болезни и что из ста человек будет умирать тридцать пять. Им не могло и присниться, что подобное судно, лишившись надежды избежать преследования, могло выбросить в море груз из пятисот негров. Могли ли они себе представить, что начальники близ берега, находящегося в блокаде, разочарованные в своих надеждах, велят убить двести мужчин и женщин, насадить их головы на копыя и расставить в виде судов, вдоль берега?<sup>4</sup> Одним словом, они никогда не предполагали, что им придется говорить за отмену принудительных мер, как они это делают теперь.

Как велики и как очевидны были для работников обещанные им выгоды от ремесленных союзов – это было средство для устранения хозяев! Работники соединялись в промышленное товарищество, выбирали директоров, секретарей, казначеев, нарядчиков и т. д., одним словом, всех лиц, нужных для управления делом; они составляли организацию, приспособленную к справедливому распределению прибылей между членами товарищества. После этого было ясно, что огромные суммы, попадавшие в карманы хозяев, будут распределены между работниками и значительно увеличат их благосостояние. Однако же все попытки применить к делу эту весьма благовидную теорию приводили, так или иначе, к самым жалким ошибкам.

Другой пример представляет собой судьба благотельного плана, предложенного Бабедем в его книге «Экономия фабрик». План этот казался и благотельным для работников, и выгодным для хозяев. По плану этому надлежало составить из фабричных рабочих товарищество, иметь агента для приобретения оптом товаров, которые более всего употреблялись, как-то: чая, сахара, свиного сала и т. д., и продавать их в розницу по тем же ценам, по которым они были приобретены, прикидывая к ним лишь столько, сколько необходимо для вознаграждения агента. После четырнадцатилетнего опыта дело, основанное для осуществления этой мысли, было оставлено с общего согласия всех участвующих; г. Бабедж сознался, что мнение, которое он высказал относительно пользы таких ассоциаций, значительно изменилось после сделанного им опыта; ряд неудач привел к постепенному упадку ассоциацию, сначала быстро развившуюся.

Спитафильдские ткачи представляют нам другой пример подобного рода. Не подлежит сомнению, что им трудно было не поддаться сильному соблазну, который понуждал их добиваться закона 1773 года, назначавшего минимум заработной платы; всем было ясно, что такой закон должен был привести к увеличению благосостояния этих рабочих. К несчастью, ткачи не сообразили, что вследствие этого закона им нельзя было работать по пониженным ценам; они не ожидали, что еще до наступления 1793 года более четырех тысяч станков будет остановлено вследствие того, что промышленность найдет для себя другие пути.

Чтобы оказать нужде помощь, явно необходимую для достижения «наибольшего счастья», английский народ издал более сотни парламентских постановлений, имевших в виду эту цель, и каждый из этих законов был последствием ошибок и неполноты предыдущих. Несмотря на это, и до настоящего времени все недовольны законами о бедных, и, по-видимому, мы более чем когда-либо далеки от приведения их в удовлетворительное положение.

К чему приводить отдельные случаи? Разве опыт всех народов не показывает тщетность эмпирических попыток для приобретения счастья? Разве собрание наших статутах (законов) заключает в себе что-либо иное, кроме перечня подобных несчастных покушений, сделанных наугад? Разве история не есть рассказ о неудачном исходе всех этих мер? Далеко ли мы ушли на этом пути в настоящее время? Разве наше правительство не завалено и в настоящее время работой до того, что можно было бы подумать, что фабрикация законов началась только со

<sup>3</sup> один фут и шесть дюймов – около 46 см.

<sup>4</sup> См. «Anti-slavery's society's report for 1847» («Отчет общества для противодействия распространению рабства за 1847 г.») и «Evidence before parliamentary Committee», 1848 («Показания, данные в комитете парламента»).

вчерашнего дня? Разве оно сделало какой-нибудь очевидный шаг к окончательному установлению социальных порядков? Разве оно не запутывается с каждым годом все более в сетях им же созданного законодательства, и разве оно не вносит с каждым годом все больший беспорядок в эту разнокалиберную массу постановлений? Можно сказать, что каждое новое действие парламента заключает в себе прикрытое признание своей некомпетентности. Нет почти ни одного закона, который бы не был озаглавлен так: «Указ в отмену указа». После слов «так как», которыми эти законы начинаются, следует мотив, который заключает в себе ни более ни менее как историю неудачи прежнего законоположения. Изменения, разъяснения и отмены законов – вот занятия каждого парламентского заседания. Все наши великие парламентские агитации имели целью отмену учреждений, создававшихся для общественного блага. Доказательством могут служить агитации для отмены законов, удалявших католиков от должностей, отмены Test and Corporation Acts; движения в пользу эмансипации католиков, для отмены хлебных законов; в настоящее время к ним можно присовокупить агитацию относительно отделения церкви от государства. История всех этих явлений совершенно единообразна. Сначала затевается закон, потом он испытывается, далее оказывается негодным; тогда в нем делается изменение, и еще раз следует неудача; затем является на свет то бестолковая пачкотня для исправления испорченного дела, то не способные к жизни попытки. Наконец, все отменяется, и является на место старого совершенно новый план, которому предназначено пройти по тому же пути и испытать ту же судьбу.

Философия пользы игнорирует этот мир с его поучительными явлениями. Люди постоянно обманывались при своих попытках обеспечить путем законодательства какую-либо из частей великого целого, называющегося «наибольшим счастьем»; несмотря на это, она продолжает верить беспомощному суждению государственных людей. Она не добивается руководителя; она не имеет эклектического принципа; она не отыскивает узла, чтобы можно было распутать запутанную сеть социального существования и раскрыть его законы. Она предполагает, что правительства, по исследовании явлений, из которых слагается народная жизнь, достаточно приготовлены для всяких полезных мероприятий. Ей кажется философское исследование человеческой жизни столь легким; социальная организация представляется ей такой несложной; побудительные причины, которыми руководствуется народ в своих действиях, по ее мнению, так очевидны, что для представителей так называемой «общественной мудрости» общее исследование этих предметов достаточно, чтобы сделать их способными к изданию законов. Она считает человеческий интеллект компетентным в этом деле. Она считает его способным к точному и верному исследованию проявлений человеческой природы в общественной жизни людей; она полагает, что он может сделать верную оценку свойств общества и отдельных личностей и действия, которое производят на людей религия, обычаи, предрассудки, предубеждения, что он может точно оценить умственное направление века, определить значение случайностей будущего и т. д. Ей кажется, что он может соединить в своем воображении в единое целое все разнообразные явления этого вечно взволнованного, вечно меняющегося моря жизни и почерпнуть из этого целого те познания, те принципы управления, которые сделают его способным решать, какое влияние на людей будет иметь та или другая мера и приведет ли она к «наибольшему счастью наибольшего числа».

Представьте себе, что Ньютон вместо того, чтобы исследовать свойства земли, прямо приступил бы к изучению небесной механики. С телескопом в руках он употребил бы многие годы на определение расстояний небесных тел, их величины, движения, наклонности оси, формы орбиты, возмущения и т. д. Он записал бы эту массу собранных наблюдений и начал бы выводить из них основные законы равновесия планет и звезд. Он копался бы до бесконечности и не пришел бы ни к какому результату.

Не подлежит сомнению, что такой прием исследования не имел бы смысла, но он был бы все-таки гораздо рациональнее попытки раскрыть принципы общественной жизни путем

непосредственных наблюдений над этой поражающей своей запутанностью комбинацией, которую называют обществом. Нисколько не удивительно, если законодательство, основанное на теориях, выработанных таким способом, делает ошибки. Скорее можно было бы крайне удивляться, если бы его деятельность оказывалась успешной. Наше понятие о человеке – самое несовершенное, а между тем *человек* – орудие, которым действует законодательство, и предмет, для которого оно создается. Полное знание отдельно *человека* было бы, однако же, только первой ступенью для изучения массы людей, называемой *обществом*. После этого совершенно ясно, что вывод начал истинной философии общественной жизни из бесконечно разветвленных комбинаций всемирного человечества составляет задачу, которая выше способностей ограниченной души, поэтому и составление правил для достижения «наибольшего счастья» на подобном основании недоступно этим способностям.

§ 4. Еще одно возражение, губительное для философии пользы, заключается в том, что она предполагает вечное существование управления. Несомненная ошибка – предполагать, что управление должно существовать всегда. Учреждение это характеризует известное состояние человеческой цивилизации, оно естественно для известного фазиса человеческого развития. Оно принадлежит к разряду явлений случайных, а не неизбежных.

У бушменов мы находим состояние, предшествующее гражданскому устройству; возможно и такое положение общества, где гражданское устройство угаснет. Оно уже и теперь потеряло отчасти свое значение. Было время, когда история народа состояла из истории его правительства. Теперь мы видим совершенно иное. Когда-то общераспространенный деспотизм был проявлением крайней необходимости в стеснениях. Феодальная система, крепостная зависимость, рабство, – все эти деспотические учреждения суть не что иное, как крайне сильные образы правления, которых необходимость вытекала из испорченности человека. Прогресс по отношению к этим учреждениям приводил во всех случаях к одному и тому же – к ослаблению власти правления. К этой цели направлены и конституционные формы, и политическая свобода, и демократия. Общества, ассоциации, товарищества заключают в себе новые формы для достижения целей, которые в более варварские времена и в странах, стоящих на более низкой ступени цивилизации, нуждаются в деятельности правительства. У нас законодательная власть ослабляется более новыми и могущественными силами – она перестает быть господином и делается слугой. Давление извне достигло теперь того, что уже признается окончательным источником правления. Торжество Лиги против хлебных законов<sup>5</sup> – ни более ни менее, как один из самых видных образцов новых приемов управления; значение общественного мнения берет верх над прежним двигателем, над силой. Все это заставляет предполагать, что зависимость законодателя от мыслителя сделается общепризнанным началом. Число приверженцев власти государства уменьшается день ото дня. Даже «Times» видит, что «общественными переменами, окружающими нас, устанавливаются истины, которые менее всего поддают законодательной власти повод возгордиться»; она замечает, что «пути, по которым направляется прогресс, зависят не от биллей, предлагаемых в парламенте, не от законов, которые издаются, не от того, что происходит в области политики или государства, а от непосредственной деятельности общества и от той связи, в которой эта деятельность находится с успехами искусств и наук, от природных влияний и многих других подобных причин, вовсе не политического свойства»<sup>6</sup>.

Таким образом, государственная власть упадет в той же степени, в какой развивается цивилизация. Власть эта необходима для дурных людей, для хороших она излишняя. Это –

<sup>5</sup> Лига против хлебных законов – организация, основанная Ричардом Кобденом и Джоном Братом в 1839 г. для пропаганды идеи отмены «хлебных законов» – ключевого элемента протекционистской системы тогдашней Великобритании. Отмена «злебных законов» в 1846 г. ознаменовала начало политики свободы торговли в Великобритании и Европе.

<sup>6</sup> См.: «Times». 12 октября 1846 г.

стеснение, которое создает для себя народная слабость, и стеснение это прямо пропорционально степени слабости. Существование власти доказывает, что еще не пришел конец варварства. Закон для узкого эгоиста – то же, что для дикого зверя клетка. Ограничение необходимо для дикого, для грабителя, для склонного к насилию; для человека справедливого, доброжелательного, великодушного оно излишне. Всякая потребность во внешней силе указывает на болезненное состояние. Тюрьма нужна для преступника, смиренная рубашка – для помешанного, костыли – для хромого, корсет – для страдающего слабостью позвоночного хребта, для бесхарактерного нужен распорядитель, для ограниченного – руководитель; но ничего подобного не нужно для человека, у которого здоровая душа находится в здоровом теле. Тюрьмы были бы излишни, если бы не было воров и убийц. Армии у нас существуют только потому, что тирания господствует теперь на земле. Адвокаты, судьи, присяжные – все орудия закона необходимы только по причине существования плутовства. Судебная власть есть следствие социальной порочности; полиция и преступник – это целое, в котором одна часть служит необходимым дополнением другой. Таким образом, то, что мы называем правительством, есть не что иное, как неизбежное зло.

Каково же должно быть наше мнение о системе нравственности, для которой эти переходящие учреждения служат основанием, которая предполагает их вечными и создает в этом предположении длинный ряд заключений? Материалами для своей постройки она избирает парламентские постановления, а государственных людей обращает в своих зодчих. Таков образ действий философии пользы. Она избирает правительство себе в товарищи, дает ему полное право контроля над своим делом; по мнению этой системы, все должно быть предоставлено суждению правительства; одним словом, она делает из правительства жизненный принцип, существо и душу своего учения. Если Палей утверждает, что интересы всего общества обязательны для каждой его части, то, следовательно, он предполагает существование власти, которая бы определяла, в чем должен заключаться этот интерес всего общества. В другом месте он выражает свою мысль еще яснее: он утверждает, что воля отдельного лица должна уступить, когда дело идет об интересе всей нации; интерес же нации определяется законодательной властью. Бентам выражается еще решительнее. Он утверждает, что счастье отдельных личностей, из которых составляется общество, их радости, их спокойствие и их безопасность – вот единственная цель, которую законодательство должно иметь в виду; законодательство в пределах, в которых это от него зависит, должно заставлять отдельные личности сообразовать свое поведение с этим единственным руководящим правилом. Эти места из сочинений упомянутых философов избраны не произвольно, они вытекают из самого основания, на котором построена их система. По их мнению, «польза» должна вести к благу масс, а не к благу отдельного лица; она должна вести к благу как настоящих, так и будущих поколений. Ясно, при таком положении, что кто-нибудь должен же решать, какие пути должны вести к такому благу. Взгляды на пользу той или другой меры до такой степени различны, что они делают управление существенно необходимым. Относительно запретительных тарифов, государственной церкви, смертной казни, законов о бедных существуют прямо противоположные мнения; способствуют ли эти учреждения общему благу или нет – на этот вопрос даются такие различные ответы, что дело не подвинулось бы ни на шаг до конца времен, если бы в этом нельзя было ничего сделать прежде, чем воспоследует единодушное согласие всех. Если бы независимо от государственной власти каждый приводил в исполнение свои взгляды на то, что он считает лучшим обеспечением для «наибольшего счастья наибольшего числа живущих», в обществе очень скоро водворилось бы безысходное замешательство. Если учение о нравственности основано на правилах, которые при практическом применении порождают споры и противоположные взгляды, то понятно, что необходима для его осуществления известная власть, которая имела бы право окончательного решения, т. е. законодательство. Без такой власти нравственное учение должно оставаться недействительным.

Таким образом, дело ставится вот в какое положение. Система нравственной философии должна заключать в себе собрание истин и руководящих правил для определения направлений человеческой деятельности – правил, приспособленных для руководства как наилучших, так и наихудших членов человеческого рода. Если они истинны, то они должны быть способны руководить человечеством и по достижении наибольшего совершенства, какое мы можем себе представить. Правительство же есть учреждение, порожденное человеческим несовершенством; всеми признано, что учреждение это порождено необходимостью ограждать себя от зла; это – учреждение, от которого можно было бы избавиться, если бы мир был населен несебялюбивыми, добросовестными и доброжелательными людьми; одним словом, это учреждение, несовместимое с упомянутым «крайним пределом человеческого совершенства». После этого можно ли признать систему нравственной философии истинной, если необходимость правительства лежит в основании этой системы?

§ 5. Итак, первое, что можно сказать о философии пользы, – это то, что она не имеет права на научное значение: она не основана на аксиомах, а выражает только задачи, которые подлежат разрешению.

Если даже согласиться, что ее основные положения заключают в себе аксиомы, и в таком случае ими нельзя довольствоваться, потому что они выражены словами, не имеющими единого, всеми признанного смысла.

Если бы философия «пользы» была удовлетворительна во всех других отношениях, то она все-таки будет лишена всякого значения до тех пор, пока для ее практического применения необходимо будет всеведение.

Если мы даже не обратим внимания на все другие возражения, то мы все-таки вынуждены будем отказать в нашем признании учению, которое в одно и то же время стремится создать совершенное и принимает несовершенство себе в основание.

## ***Учение о нравственном чувстве***

**§ 1.** Для того чтобы составить себе правильное понятие об обществе, необходимо исследовать природу индивидуумов, из которых оно состоит. Чтобы понять человечество во всей его сложности, необходимо сначала анализировать отдельные его элементы; для понимания сложного необходимо обратиться к простым составным его частям. Нетрудно понять, что каждое проявление в собрании людей истекает из известного рода свойств отдельного человека. Немного нужно размышления, чтобы понять, что само существование общества доказывает в отдельных его членах известную естественную склонность к такому союзу. Ясно, что если бы человечество не обладало способностью управлять и подвергаться управлению, то правительство было бы невозможно. До бесконечности сложная организация человеческих отношений выросла под влиянием известных стремлений, существующих в каждом из нас. Религиозные учреждения вызваны были к жизни известными нашими чувствами, к которым они обращаются.

Рассматривая все это со вниманием, мы найдем, что не можем составить себе об этих предметах другого понятия. Проявления личностей в составе общества не могут происходить от случайностей комбинации, они должны быть последствием известных свойств, прирожденных их существу. Совершенно справедливо, что проявления эти вызываются именно соединением людей в одно общество; при этом обнаруживается то, что прежде оставалось незамеченным: общественная жизнь вызывает деятельность способностей, которые оставались в неразвитом состоянии, но очевидно, что она не создает их. Если в отдельных членах общества не существует способности для произведения известного явления общественной жизни, то явление это вовсе не может иметь места.

Во всей природе мы видим тот же самый факт: свойства массы зависят от особенностей каждой из составных ее частей. Дальтон показал нам, что в химических соединениях нескольких элементов сродство существует между отдельными атомами. Вес тела есть не что иное, как сумма силы тяготения всех отдельных его частичек. Твердость куска металла есть произведение силы сцепления всех отдельных его составных частей. Притягательная сила магнита есть сложный результат притягательного свойства каждого отдельного атома, из которых он состоит. Точно так же каждое социальное явление должно иметь своим источником известные свойства индивидуумов. Сила тяготения и химическое сродство скрыты в отдельных частицах и проявляются только тогда, когда атомы эти сближаются друг с другом; точно так же в отдельных личностях известные силы остаются без проявления до тех пор, пока эти люди не приходят в соприкосновение со своими ближними.

Все эти соображения, по-видимому, совершенно излишние, имеют, однако же, большое значение для нашего предмета. Они убеждают нас, что нравственный закон общества точно так же, как и другие его законы, имеет своим источником известные свойства человеческой природы. Они не позволяют нам построить наше учение на основании, которое неизбежно предполагает существование общества, как например, основание «наибольшего счастья наибольшего числа людей». Вместе с тем они показывают, что основные нравственные принципы, которыми должно руководствоваться человечество в составе общества, следует отыскивать у человека в качестве отдельной личности – нравственные силы, на которых основывается социальное равновесие, заключаются в каждом социальном атоме, т. е. в каждом отдельном человеке; если мы хотим понять природу социальных сил и законы социального равновесия, мы должны усмотреть их в устройстве отдельного человека.

**§ 2.** Если бы мы не имели для еды другого побуждения, кроме выгод и удобств, которые могут от этого происходить, то едва ли можно было бы ожидать, чтобы мы о нашем теле забо-

тились так хорошо, как мы заботимся теперь. Не подлежит никакому сомнению, что если бы мы были лишены того настоящего стимула, который называется аппетитом, и если бы мы в этом случае должны были руководствоваться исключительно какими-нибудь разумными правилами, то дело вышло бы гораздо менее удовлетворительным. Самая лучшая философия – вполне ясная очевидность преимуществ насыщения – может только самым неудовлетворительным образом заменить чувство голода. Представим себе, что вместо могущественной привязанности, которая заставляет людей питать и защищать своих детей, существует только отвлеченное убеждение, что полезно и необходимо поддерживать население земного шара.

В таком случае весьма легко могло бы быть, что ожидаемая от воспитания детей польза не перевесила бы неприятностей, забот и издержек, сопряженных с воспитанием будущего поколения, и дело кончилось бы быстрым исчезновением рода человеческого. Предположим, что, кроме нужд тела и потребностей расы, все другие требования нашей природы также удовлетворялись бы не иначе, как через посредство и вследствие деятельности нашего интеллекта; предположим, что мы приобретаем собственность, свободу, знания, доброе имя, друзей и пр. не иначе, как по требованию нашего разума. Что же вышло бы из этого? Наши исследования были бы так бесконечны, наши обсуждения так сложны, решения для нас так затруднительны, что вся наша жизнь проходила бы в собирании доказательств, и мы только бы и делали, что взвешивали вероятности пользы и вреда. При таком положении утилитарная философия имела бы за себя важные доводы в природе вещей; она прямо прилагала бы к обществу ту же самую систему, которой руководствовались бы отдельные люди, – систему расчета для определения окончательного результата действий.

Природа в настоящее время поступает совершенно иначе. Для каждого действия, которое нам нужно совершить, мы находим в нас стимул, который называется желанием; чем существеннее для нас действие, тем могущественнее проявляется побуждение к его исполнению, тем больше удовольствия доставляет нам удовлетворение потребности. Стремления к пище, ко сну, к теплу неотразимы и совершенно независимы от предусмотрительного расчета выгод. Продолжение расы обеспечено другими, не менее сильными потребностями; потребностям этим человек следует не только во имя разума, но часто наперекор здравому рассудку. Существование скаредности доказывает, что человек накапливает средства для своего существования не только потому, что он имеет в виду пользу, от этого происходящую. У скряги любовь к приобретению приводит к пренебрежению целями, которым оно должно служить. Точно такой же образ действий природы мы встречаем и по отношению нашего поведения к себе подобным. Для того чтобы мы вели себя по отношению к обществу самым приятным для него образом, мы обладаем любовью к похвалам. Желательно, чтобы сходились между собой в обществе люди, которые всего более созданы друг для друга, и вот мы имеем чувство дружбы. Уважение, которое человек чувствует к тому, кто его превосходит, создано, чтобы обеспечить преобладание лучшего.

Вследствие этого здравый смысл заставляет нас предполагать, что мы найдем подобные же стимулы, которые бы побуждали нас следовать тем правилам, соблюдение которых обыкновенно называется *нравственностью*. Всякий должен согласиться с тем, что мы для обеспечения нашего телесного благосостояния руководствуемся инстинктами: из инстинктов исходят те домашние отношения, которые приводят к достижению других важных целей; подобные же деятели определяют и общественное поведение и во многих случаях обеспечивают, таким образом, посредственно наше благополучие. Мы видим, что каждый раз, когда можем сводить наши поступки к их источнику, мы находим источником этим естественный стимул; поэтому весьма вероятно, что тот же самый душевный механизм действует и во всех случаях. Если самые существенные потребности нашего существа удовлетворяются путем инстинктивных побуждений, называемых желаниями, то весьма вероятно, что таким же образом удовлетворяются и менее важные. Честное поведение каждого отдельного человека необходимо для общего

счастья, поэтому существует стимул, который побуждает к подобному поведению. Одним словом, мы обладаем «нравственным чувством», которое побуждает нас к прямоте во взаимных отношениях. Вследствие этого честное и искреннее поведение доставляет нам удовольствие, и в нас появляется чувство справедливости.

В опровержение этого вывода замечают, что если бы существовал такой двигатель, которым определялось бы поведение одного человека по отношению к другому, то влияние этого двигателя было бы для нас повсюду заметно. Люди следовали бы предполагаемым внушениям этого нравственного чувства с готовностью, которой мы в них вовсе не замечаем. Между мнениями людей о справедливости и несправедливости действий существовало бы несравненно большее единообразие. Нам не приходило бы видеть, как мы видим теперь, что один человек или один народ признает добродетелью то, что со стороны другого признается пороком. Малаец хвалится морским разбоем, презираемым всеми цивилизованными племенами. Тут видит исполнение религиозной обязанности в убийстве, перед которым европеец отступает с ужасом; русский находит достоинство в успешном обмане; краснокожий индеец кичится обычаем неумирающей мести – все это дела, которыми среди нас менее всего возможно хвалиться.

Это возражение, по-видимому, весьма сильное; но его ошибочность делается достаточно ясной, если мы взглянем в то положение, в которое мы будем поставлены при последовательном его развитии. Никто не будет отрицать инстинкт, о котором было сказано выше и который заставляет нас отыскивать пищу, необходимую для поддержания нашей жизни; никто не будет оспаривать, что инстинкт этот крайне благодетелен и, по всей вероятности, существенно необходим для поддержания нашего бытия. Несмотря на это, проявления такого инстинкта приводят к бесчисленным бедствиям и неудобствам. Всем известно, что аппетит вовсе не может служить правильным руководителем в выборе пищи как по отношению к ее качеству, так и по отношению к количеству. Точно так же невозможно утверждать, чтобы инстинкт этот порождал единообразные побуждения. Стоит только вспомнить бесконечное разнообразие, порождаемое им во мнениях относительно вкуса. Одно указание на обжорство и пьянство может убедить всякого, что побуждения, порождаемые аппетитом, не всегда хороши. На каждом шагу мы встречаем уродливые носы, мертвенные лица, вонючее дыхание, сырые тела; страдания головы, желудка и сердца, кошмары и бесчисленные другие припадки, произведенные расстройством пищеварения, возбуждают беспрерывно наше соболезнование. Столько же неправильных отправок представляет нас и всеми признанное чувство родительской любви. Благодетельное его действие довольно единообразно в нашей среде; но на Востоке детоубийство в таком же ходу, как и было всегда. Во время классической древности мы встречаем обыкновение предоставлять младенцев на съедение диким зверям. В Спарте все новорожденные, не одобренные комитетом стариков, который заседал для определения их достоинств, бросались в предназначенную для этой цели общественную яму. Если отрицать существование в нас чувства, стремящегося установить правильность и справедливость во взаимных наших отношениях, и основываться при этом на отсутствии единообразия во взглядах людей на нравственность и на слабости и недостаточности в проявлениях этого чувства, то следует также утверждать, что не существует аппетита и родительской привязанности, потому что проявления этих чувств обнаруживаются точно так же неправильно в действиях людей по отношению к пище и к своему потомству. Такое заключение было бы неосновательно в последнем случае; следовательно, его нельзя сделать и в первом. Несмотря на все недостатки в проявлениях нравственного чувства, мы должны допустить, что существование такого чувства и возможно, и вероятно.

§ 3. Мы обладаем таким чувством, и это лучше всего доказывается словами тех, которые утверждают, что его не существует. Без сомнения, странно видеть, как Бентам, выводя свои первоначальные положения, невольно прибегает к оракулу, которого существование он отри-

цает и осмеивает, когда на него ссылаются другие. Говоря о Шафтсбери, он замечает: «Человек утверждает, что в нем есть орудие, которое должно ему указывать, что справедливо и что несправедливо; орудие это он назвал нравственным чувством; и вот он совершенно спокойно приступает к делу и объявляет об одном, что оно справедливо, а о другом, что нет. На чем же, однако, он основывает свое мнение? Ему, видите ли, это сообщено его нравственным чувством». Однако же и Бентам для своих положений не имеет другого авторитета, кроме того же нравственного чувства, и это – довольно неудобное для него обстоятельство. Если мы это положение предоставим на рассмотрение здоровой критики, то скоро раскроем, где тут истина. Сделаем же попытку.

«Итак, вы полагаете, – говорит патриций, – что целью нашего управления должно быть наибольшее счастье наибольшего числа».

«Это наше мнение», – отвечает проситель из плебеев.

«Посмотрим, в чем заключается ваш принцип. Предположим то, что очень часто случается, что люди обнаружили разнородные желания насчет одного и того же предмета; предположим, что посредством известного направления деятельности большинство из них желает получить известную долю счастья; в то же время меньшинство желает получить ту же долю счастья посредством деятельности в совершенно противоположном направлении. Если принцип «наибольшего счастья» должен нами руководить в этом случае, то, следовательно, большинство должно иметь предпочтение?»

«Конечно».

«Итак, если вы, народ, составляете сто, а нас девяносто девять, то предпочтение должно быть для вашего счастья, даже и в том случае, когда наши желания были бы прямо противоположны, когда сумма удовлетворения, полученная каждой личностью той и другой стороны от исполнения ее желания, была бы совершенно одинакова».

«Совершенно так – это вывод из нашей аксиомы».

«Таким образом, вы решаете между двумя партиями на основании численного большинства, а следовательно, вы предполагаете, что счастье каждого члена одной партии столь же важно, как и счастье каждого члена другой».

«Без сомнения».

«Ваше учение в самой простой форме может быть выражено так: «всякий человек имеет одинаковое право на счастье»; применяя это к личностям, я скажу, что вы имеете столько же права на счастье, сколько и я».

«Я имею такое право – это не подлежит сомнению».

«Позвольте вас, однако же, спросить, кто вам сказал, что вы имеете столько же права на счастье, сколько и я?»

«Кто мне это сказал? Я в этом уверен; я это знаю; я это чувствую; я...»

«Это ничего не значит. Укажите мне ваш авторитет. Скажите мне, кто вам это сообщил, как вы в этом убедились, откуда вы это заключили?»

После нескольких попыток рационального объяснения наш проситель вынужден будет сознаться, что у него нет другого авторитета, кроме его собственного чувства – это просто врожденное его убеждение; другими словами, это сообщено ему его «нравственным чувством».

Правильно ли такое указание нравственного чувства – это не подлежит здесь рассмотрению. Здесь имелось в виду только обнаружить факт, что после внимательного разбора дела даже и ученикам Бентама, при изыскании основания для их системы, останется одно – обратиться к внушениям того же нравственного чувства, которое было ими так осмеяно.

§ 4. Только человек, предубежденный ложной теорией, может не заметить действия подобной способности. Признаки существования этой способности мы находим начиная от самой глубокой древности и до настоящего времени. Признаки эти, по счастью, умножаются,

как скоро мы начинаем приближаться к нашим дням. Статьи Великой хартии<sup>7</sup> выражают протест нравственного чувства против притеснений и его требования по отношению к водворению справедливости. Его инициатива послужила причиной уничтожения рабства. Нравственное чувство придало Виклефу, Гусу, Лютеру и Кноксу мужество в их борьбе против папства; оно побудило гугенотов, пресвитериан, моравов отстаивать свободу суждения в делах веры<sup>8</sup>. Оно внушило Мильтону его «опыт о свободе печати»<sup>9</sup>. Оно направило отцов-пилигримов в Новый Свет. Оно поддерживало последователей Георга Фокса, угрожаемых пенями и тюрьмой. Оно внушало дух сопротивления пресвитерианскому духовенству 1662 г. Оно же в более позднее время породило те чувства, которые подточили и уничтожили политические ограничения по отношению к католикам. Через посредство ораторов, проповедовавших против рабства, оно сломило сопротивление эгоизма, смягчило сердца добрых и способствовало очищению нашей нации. Лучи его теплоты взрастили в нас симпатии к полякам и возбудили в нашей душе негодование против их притеснителей. Долго скапливался в нас возбужденный им жар, шумным взрывом разразился он над старинной несправедливостью и породил кипучую агитацию реформы. Из поднявшегося тогда пламени вылетели искры, которые уничтожили теории протекционистов, и возгорелся свет, который открыл нам истину свободной торговли. Внутренняя сила этого чувства возбудила социальный *электрический ток*, который разделяет людей на партии, который порождает в народе его положительный и отрицательный полюсы – радикальные и консервативные элементы. Теперь то же чувство порождает ассоциации против государственной церкви и обнаруживает свое действие в разнородных обществах, направленных к увеличению власти народа. Оно строит памятники мученикам политической деятельности, оно агитирует за допущение евреев в парламент, оно распространяет книги о правах женщин, подает петиции против сословного законодательства, угрожает восстать против конскрипции ополчения<sup>10</sup>, отказывается платить приходские (церковные) сборы, отменяет притеснительные законы о должниках, оплакивает печальные судьбы Италии и вызывает симпатии к венграм<sup>11</sup>. Из него, как из корня, возрастают наши стремления к социальной правдивости. Оно порождает изречения вроде следующих: «поступай с другими так, как бы ты желал, чтобы поступали с тобой», «честность – лучшая политика», «сначала справедливость, а потом великодушие». Вот его цвет, а плоды его – справедливость, свобода и безопасность.

§ 5. Меня спросят: каким образом чувство может иметь понятие? Каким образом инстинктивное стремление может породить нравственное чувство, способность нравственного смысла? Не заключается ли тут смешения между интеллектуальной деятельностью и ощущением? Дело чувства – получать впечатления, а не определять образ действий; в то же время дело инстинкта – порождать известный образ действий, но не получать впечатления. Между тем в предыдущем изложении способность побуждения и сила представления сосредоточиваются в одном и том же деятеле.

<sup>7</sup> Великая хартия <вольностей> (*Magna Carta Libertatum*) – грамота, подписанная английским королем Иоанном Безземельным в 1215 г., ставшая в последующем одним из основных конституционных актов Великобритании.

<sup>8</sup> Гугеноты – название французских протестантов (кальвинистов). Пресвитериане – последователи протестантского вероучения, возникшего в Англии в 16 в. Моравы – народ, проживающий и ныне на территории современной Чехии, претендовавший на национальную независимость в разные времена; отстаивать свободу суждения в делах веры... – видимо, имеется в виду революционное движение 1848–1849 гг. в Богемии и Моравии (Австро-Венгрия), на волне которого высказывались идеи о равенстве всех национальностей в данной империи.

<sup>9</sup> его «опыт о свободе печати» – имеется в виду «Ареопагитика» (1644), памфлет английского поэта Джона Мильтона (1608–1674), направленный против цензуры.

<sup>10</sup> Конскрипция – система комплектования армии на основе всеобщей воинской повинности, но с допущением замены ее денежным выкупом.

<sup>11</sup> Не следует упускать из виду, что все это написано было в сороковых годах; теперь, когда венгр из притесненного обратился в притеснителя, его судьба вовсе не симпатична. – Прим. перев.

Это замечание может иметь вид весьма серьезного возражения, и если бы нужно было термины «чувство» или «мысль» понимать в точном их значении, оно могло бы привести к решительному опровержению. Но в настоящем случае термин «чувство» выражает то же, что он означает и во многих других, а именно то чувство, с которым инстинкт смотрит на предметы и действия, входящие в его сферу, или, лучше сказать, то суждение об этих действиях и предметах, к которому он побуждает интеллектуальную силу посредством известного рода рефлексивного влияния. Объяснить это нужно примером: мы выберем страсть к экономии – она даст нам возможность удовлетворительно разъяснить дело.

Мы найдем, что вместе со стремлением к приобретению собственности она составит то, что мы назовем чувством или смыслом цены собственности. Мы найдем, что сила этого чувства изменяется сообразно силе побуждения. Противопоставим скрягу и расточителя. Преследуемый своим постоянным желанием копить, скряга имеет совершенно ненормальный взгляд на цену денег. Самая крайняя экономия кажется ему добродетелью; самые обыкновенные издержки могут представиться ему предосудительными, а щедрость внушает ему полнейшее отвращение. Все, что способствует увеличению его запаса, кажется ему хорошим; все, что его уменьшает, кажется ему дурным. Если минутная вспышка благородного чувства по какому-нибудь случаю заставит его развязать свой кошелек, то он может быть вполне уверен, что впоследствии будет порицать себя за это как за дурной поступок. С другой стороны, и расточитель не может правильно определять настоящую цену собственности, потому что ему недостает инстинкта приобретения; это не идет к нему, он не имеет для этого надлежащей склонности. Под влиянием совершенно других чувств он смотрит с презрением на привычки экономии: он в расточительности видит благородное свойство. Теперь ясно, что этот противоположный взгляд на достоинства и недостатки известного поведения проистекает не из рассудка, а из чувства, из способностей ощущения. Если бы рассудок действовал у них не под влиянием желаний и инстинктивных стремлений, то он показал бы им, что в образе действий скряги так же мало мудрости, как и в образе действий расточителя. Действуя же под влиянием инстинктивных желаний, рассудок каждому из них представляет другого дураком, в то время как страсть не дает ему возможности заметить собственное дурачество.

Этот самый закон действует во всех случаях. Каждая склонность сопровождается чувством справедливости тех действий, которые способствуют ее удовлетворению; она стремится создать понятие о хороших и дурных поступках, которое бы соответствовало тем удовольствиям или страданиям, которые они для нее производят. Если бы она не встречала оппозиции, ей бы действительно удалось распространить убеждения, согласные с ее стремлениями. Но так как склонности находятся между собой в постоянном противоречии и антагонизм между некоторыми из них продолжается всю жизнь, то из этого выходит прямо соответствующее этим противоречиям противоположное стремление при составлении взглядов на вещи: между этими взглядами является подобное же столкновение и соответствующий ему антагонизм. Вот почему связь, существующую между инстинктом и мнениями, из него вытекающими, можно ясно увидеть только тогда, когда одно инстинктивное стремление окончательно преобладает или когда не существует противоположного побуждения инстинкта.

Примененные к нашему предмету, эти факты показывают, каким образом из инстинктивного побуждения действовать в том направлении, которое мы называем справедливым, может произойти понятие, что так должно действовать, и убеждение, которое заставляет эти действия считать хорошими. Этот инстинкт или чувство, которое удовлетворяется справедливым поступком и оскорбляется несправедливым, заставляет нас хвалить справедливое и чувствовать отвращение к дурному; отсюда непосредственно вытекает мнение, что один род поступков добродетелен, а другой – порочен. Возвращаясь к приведенному примеру, мы можем сказать, что если страсть к приобретению собственности сопровождается чувством цены собственности, то страсть к справедливому образу действия сопровождается чувством справедливости.

Если мы слово «чувство» употребим исключительно для выражения этого явления, то не будет никакой ошибки, если мы тому же деятелю припишем и способность побуждения, и способность производить понятие.

Здесь нужно опровергнуть еще следующее возражение. Выше было объяснено, что каждое чувство стремится породить понятия о справедливом и несправедливом в пределах своей впечатлительности; нравственность же определяет справедливое по отношению ко всем отраслям нашего поведения, поэтому не следует относить термин «нравственное чувство» к способности одного только порядка. Это совершенно справедливо. Несмотря на это, мы должны принять в соображение, что наше поведение по отношению друг к другу составляет самую важную часть всего нашего поведения и, кроме того, ту часть, в которой мы всего легче способны ошибаться. Способность нравственного чувства исключительно и непосредственно нравственна в своих стремлениях. Кроме того, мы скоро увидим, что одни предписания этого чувства способны быть выраженными в точной форме. Вот почему мы можем продолжать не без некоторого основания употреблять этот термин в вышеизъясненном ограниченном его значении.

§ 6. Если мы предположим в человеке существование способности, побуждающей его к справедливым поступкам относительно себе подобных, если мы предположим, что эта способность порождает в нем известные непосредственные<sup>12</sup> взгляды на эти поступки, то должно показаться совершенно правильным, если мы в этих непосредственных внушениях и будем отыскивать элементы для нравственного кодекса. Попытки построить на этом основании нравственный кодекс делались уже от времени до времени. Такие попытки сделаны были Шефтсбери и Хатчесоном в сочинении «о здравом рассудке», Прайсом «о разуме», Кларком в сочинении «о пригодности», Гранвилем Шарпом «о естественной справедливости», «естественном праве», «законах разума», «здравом разуме» и т. д. Попытки всех этих писателей развить философское учение о нравственности были неудачны; но если только вышеизложенные рассуждения справедливы, то следует сказать, что они обратились к настоящему источнику. Хотя им и не удалось систематически и ясно выразить то, что они могли бы из него почерпнуть, но им может быть поставлено в заслугу то, что они сделали попытку. Анализ того, что следует считать справедливым и несправедливым, сделанный на таком основании, нельзя признать ни окончательным, ни самым глубоким. Но мы увидим, что он согласуется с подобным окончательным анализом как в исходной своей точке, так и по результатам.

Против кодексов подобного происхождения возражают, что они во всяком случае не могут иметь никакой цены, потому что у их основных положений нет твердого основания. «Так называемое «нравственное чувство», – говорят возражающие, – не имеет никакого постоянства, не дает никаких единообразных ответов; оно говорит в Европе одно, а в Азии – другое; оно порождает различные понятия об обязанностях в каждом возрасте, в каждой расе, в каждом индивидууме; каким же образом может оно быть надежным основанием для систематического взгляда на нравственность, – а между тем, все признающие его писатели обращаются к нему или посредственно, или непосредственно? – Что может быть нелепее – искать точных правил справедливости в ответах такого шаткого авторитета?»

Если допустить, что невозможно выйти из этого затруднения, если предположить, что не существует никакого способа для извлечения из этого источника нравственной философии, свободной от такого рокового несовершенства, то из этого, однако же, следовало бы только то, что отыскание истины этим путем сопряжено с теми же затруднениями, которые представляются и при всех других предложенных способах. Если признать этого руководителя несостоятельным, потому что его предписания изменчивы и непостоянны, то по той же причине

<sup>12</sup> Это слово следует понимать в обыкновенном, а не в метафизическом смысле. – *Авт.* У Спенсера употреблено слово «intuitions», которое и переведено согласно его указанию. – *Перев.*

следует отвергнуть и утилитаризм. Если Бентам прав, отвергая «нравственное чувство» на том основании, что оно дает «принципы анархические и произвольные, основанные исключительно на внутренних и личных чувствах», в таком случае его собственные учения должны быть признаны вдвое более шаткими. Разве его идея «наибольшего счастья» не есть произвольная идея? Разве она не основана также исключительно «на внутренних и личных чувствах»? (см. выше). Оставляя даже в стороне все прочее, не следует ли признать, что его идея «наибольшего счастья» – принцип анархический, потому что он допускает беспредельную разногласицу по отношению к средствам для его осуществления? Всякая утилитарная философия подвержена обвинению в неопределенности, потому что тут приходится все снова обращаться к старому, неразрешенному вопросу: что такое польза? Из каждой газеты мы можем убедиться, что этот вопрос подает повод к бесконечным спорам, оспаривается полезность каждой поставленной цели, оспаривается годность средств к ее достижению. Во всяком случае, по отношению к научной точности, философия, основанная на «нравственном чувстве», нисколько не хуже всех других известных систем.

§ 7. К счастью, она имеет за себя еще одно решительное обстоятельство. Можно вполне согласиться с силой сделанного выше возражения, и это все-таки ни в каком случае не приведет к падению теории. На основании нравственного чувства можно построить учение о нравственности с чисто синтетическими приемами, хотя, по-видимому, это и кажется невозможным; учение это будет такого рода, что оно будет безопасно от всякой подобной критики.

Упомянутые выше ошибки имели своим основанием не сущность учения, а его применение. Те, которыми сделаны были эти ошибки, исходили не из ложного принципа, но не попали на настоящую дорогу при выводе из этого источника отыскиваемых заключений. Писатели школы Шафтсбери ошиблись не по отношению к оракулу, к которому они обращались, но они вступили на ложный путь при выборе метода для истолкования его изречений. Они смешали отправление чувства и рассудка и требовали от чувства то, что должно быть предоставлено разуму. Они были правы, предполагая, что в нас существует известный руководящий инстинкт, который заставляет нас одобрять поступки, называемые хорошими, и чувствовать отвращение к тем, которые мы считаем дурными. Но они не имели никакого основания предполагать, что всякая нравственная задача может быть решена этим инстинктом по вдохновению. Чтобы сделать такое предположение, нужно было утверждать, что нравственное чувство может заменить логику.

Чтобы лучше объяснить этот предмет, мы возьмем аналогичный пример из математики или одной из ее частей – из геометрии. В человеческой душе есть способность составлять себе понятие об измеряемых величинах – понятие это мы для нашей аналогии назовем геометрическим чувством. С помощью этого чувства мы определяем длину линий, величину плоскостей, объем тела и составляем себе понятие об их взаимном отношении. Как скоро мы пожелаем придать научное значение всем сведениям, приобретенным таким образом, мы найдем, что нельзя полагаться на решения геометрического чувства, предоставленного самому себе, потому что оно порождает в различных личностях совершенно несогласные между собой суждения. Если мы сравним эти суждения, то найдем, что есть несколько простых истин, относительно которых мы все согласны. Так, например, «две величины, равные третьей, равны между собой», «целое больше своей части»; соглашаясь с этими положениями, мы их называем аксиомами – эти основные истины познаются нашим геометрическим чувством; опираясь на них, мы найдем, что возможно рядом логическим выводам разрешить все спорные пункты и решать с точностью задачи самого сложного свойства<sup>13</sup>. Моралисты, которые покусились разрешить все

<sup>13</sup> Мы можем принять взгляды Локка или Канта на существо и на природу того, что здесь для целей аналогии названо геометрическим чувством, – вопрос от этого не изменится. Но поддающееся анализу основание точных наук заключается в

нравственные задачи путем одного нравственного чувства, сделали такую же ошибку, какую бы сделали геометры, если бы они не прибегли к тому методу, о котором сказано выше, и упорно стремились бы разрешить путем геометрического чувства все вопросы, касающиеся линий, углов, четырехугольников, кругов и т. п., если бы они путем одного впечатления старались определить, равны ли три угла треугольника двум прямым или нет, или равняются ли площади подобных многоугольников отношению их сторон, возвышенному в квадратную степень.

Читатель поймет заключение, к которому должна привести эта аналогия; способность составлять себе понятие о первоначальных законах величин имеет то же отношение к математике, какое инстинкт справедливости имеет к системе нравственности. Дело геометрического чувства – создать геометрическую аксиому, из которой логическим путем может быть выведена наука геометрии; точно так же дело нравственного чувства – создать нравственную аксиому, из которой логическим путем можно вывести систему нравственности.

Развивая далее путем сравнения нашу мысль, мы найдем, что в механике создано было множество ложных взглядов, основанных на механическом чувстве, предоставленном самому себе, например, что большие тела падают быстрее, чем малые<sup>14</sup>, что вода поднимается в насос путем всасывания, что возможно вечное движение; все эти убеждения были опровергнуты синтетическими выводами, сделанными из первоначальных законов вещества, усмотренных механическим чувством. Мы имеем право надеяться, что множество противоположных взглядов на человеческие обязанности, созданных нравственным чувством, предоставленным самому себе, будет устранено научными выводами из известных первоначальных законов человеческой природы, указанных нравственным чувством.

**§ 8.** Возвращаясь к основаниям учения о нравственном чувстве, мы находим, что есть априористическая причина для отыскания первоначальных принципов общественной нравственности в известных чувствах, силах и способностях отдельной личности. Вполне соответствует этому убеждение, что инстинктивное желание, по всей вероятности, есть главное побуждение всех наших действий, потому что мы находим его источником всех тех наших действий, мотивы которых легко анализировать; поэтому мы должны предположить, что инстинктивным желанием определяется поведение, которое мы называем нравственным точно так же, как и всякий другой образ действий. Сверх того мы находим, что даже великий принцип утилитарной философии предполагает в человеке известное стремление к справедливым отношениям к себе подобным и соответствующее ему понятие о том, в чем эта справедливость заключается. В прошедшей и в настоящей социальной жизни мы встречаем разные явления, которые вполне показывают существование предполагаемого здесь нравственного чувства, и объяснить их какой-либо другой гипотезой невозможно. Предполагая существование такой способности, мы имеем причину думать, что ее внушения способны предоставить надлежащее основание для системы нравственности. На возражение, что изменчивость этих внушений делает их негодными для этой цели, следует ответить, что против оснований всякой другой системы можно сделать, по меньшей мере, то же возражение. Наконец, мы находим, что это затруднение только кажущееся, что оно вовсе не существенно. Несмотря на то, что решения этого нравственного чувства неточны и противоречивы в предоставленных на его усмотрение сложных случаях, оно может быть все-таки способно к производству верного основного начала, и начало это может быть логическим путем развито до научного учения о нравственности.

---

первоначальных понятиях – вот что нам необходимо сознать в настоящем случае; каково происхождение этих понятий, это для нашей цели безразлично.

<sup>14</sup> Учение, признанное Аристотелем и его учениками.

## *Лемма первая*

§ 1. С первого взгляда кажется весьма рациональным проверять правило, предложенное для руководства во время общественной деятельности, задавая вопросы вроде следующих: «Какое действие должно произвести это правило? Какие результаты даст эта теория, примененная к делу, если мы возьмем людей таких, какими мы их знаем, а учреждения – какими мы их встречаем в действительности?» Этот прием исследования, который считается весьма здравым, употребляется в весьма многих случаях, когда люди составляют себе понятия о нравственности и политике. Обсуждая известную систему, люди стараются определить, кажется ли она применимой, согласна ли она с тем или другим общественным учреждением, приспособлена ли она к тому, что им известно о человеческой природе. Они составили себе известное понятие о том, что такое человек и чем должно быть общество; и их решение по отношению к каждому нравственному учению зависит от того, согласно ли оно или не согласно с вышеупомянутыми понятиями.

Такой способ разрешения нравственных вопросов, конечно, должен подвергаться той же самой критике, которая оказывается губительной для утилитарной философии. Мы не способны руководиться в отдельных наших поступках путем взвешивания и определения всех их последствий, и эта неспособность совершенно последовательно должна делать нас не способными к обсуждению основных начал, если мы будем применять к ним ту же методу. Кроме того, есть еще одна причина отвергать подобного рода исследование и признавать его не имеющим основания: оно могло бы иметь значение только тогда, когда бы свойства человечества не изменялись. Если система нравственности принимается или отвергается только потому, что она согласна или не согласна с тем, что мы знаем о людях и вещах, то, следовательно, предполагается, что люди и вещи всегда будут такими же, какими мы их теперь видим. Нелепо мерить изменяющейся мерой. Если существующее человечество должно быть основной мерой для определения истины, то мера эта – т. е. существующее человечество – должна быть неизменна.

Что в нем нет этой неизменности, это достаточно очевидно без всякого доказательства – это так очевидно, что доказывать это могло бы казаться даже смешным. К несчастью, существует такое множество людей, которые по предрассудку придерживаются иного мнения, что нельзя не привести доказательств. Для опровержения их скептицизма нужно привести факты: насколько бы это ни показалось скучным читателю-философу, но нужно на это решиться.

§ 2. Сначала мы рассмотрим невероятность предполагаемого постоянства человеческой природы. Уже давно было замечено, что изменчивость есть закон всех вещей; это замечание одинаково справедливо по отношению к каждому отдельному предмету и ко всей вселенной. Природа в ее бесконечной сложности постоянно стремится к новому развитию. Каждый последовательный результат порождает нового деятеля для изменения в известной степени всех последующих произведений. Всякая новая нить, которая входит в состав бесконечной ткани, сотканной на шумном станке времени, изменяет ее рисунок в более или менее значительной степени. Так было с начала времен. Если мы обратимся к страницам первобытной истории земли, если мы будем разбирать иероглифы, в которых сохранились происшествия неизвестного прошедшего, мы найдем ту же самую вечно возобновляющуюся, никогда не прекращающуюся цепь движений и перемен. Мы видим то же самое и в органической, и в неорганической природе, в разложении старых и в появлении новых комбинаций материи и в постоянно меняющихся формах животной и растительной жизни. Старые формации разлагаются, новые – осаждаются. Леса и болота обращаются в каменноугольные копи, и скала ныне огненного происхождения была когда-то осадочной. Атмосфера меняется, температура понижается, и земля, и море постоянно производят новые породы насекомых, растений и животных. Повсюду произо-

шла метаморфоза, раковины инфузорий<sup>15</sup> превратились в мел и в кремнь, песок превратился в камень, камень сделался хрящом. Пласты исковерканы внутренними силами, налились моря, земля то поднималась, то опускалась. Там, где-то когда-то бездонный океан катил свои волны, теперь возвышаются покрытые снегом вершины над обширной роскошной страной, исполненной жизни. Там, где когда-то, широко раскинувшись, высились материки, там теперь лишь несколько пустынных коралловых островов указывают на могилу опустившихся в волны гор. То же самое мы видим среди миров. Орбиты изменили свои формы, оси – свое наклонение, небесные тела – свой свет. Неподвижные только по имени звезды постоянно изменяют свое взаимное отношение. От времени до времени внезапно появляются новые, растут и потухают; солнце, планеты и спутники, входящие в состав туманных пятен, в вечно вращательном движении все вместе летят вперед, в неизведанную даль беспредельного пространства.

Странно было бы, если бы среди этого всеобщего движения один человек оставался постоянным и неизменным. Нет, это не так. Он так же подлежит закону беспредельной перемены. Обстоятельства, его окружающие, постоянно меняются, и он постоянно к ним приспосабливается. Бесчисленные степени различий существуют между нашим бездонным дикарем и Шекспирами или Ньютонами цивилизованного государства. Различие между расами по их нравственным и интеллектуальным свойствам не менее значительно, чем различие во внешних формах, в цвете кожи и в чертах лица. Превосходство зрения бушмена, который простым глазом может видеть далее, чем европеец в зрительную трубу, вполне уравнивается более совершенным умственным зрением жителя Европы. Калмык превосходит белого человека утонченным обонянием, краснокожий индеец – остротой слуха, но это превосходство далеко не так значительно, как превосходство белого в нравственной чуткости. Каждый возраст, каждый народ, каждый климат показывает нам измененную форму человечества; большие или меньшие перемены происходили во все времена и между всеми народами.

Невозможно найти более поразительного примера упорства, с которым люди способны держаться известного убеждения, несмотря на подавляющую массу доказательств противного; а между тем, мнение о единообразии человеческой природы даже преобладает. По-видимому, человеку невозможно употреблять свое зрение и свой слух, не убеждаясь, что человечество бесконечно разнообразно по своим инстинктам, по своим нравственным свойствам, по мнениям, по вкусам, по умственным силам – одним словом, во всех отношениях. Стоит пройти по ближайшему музею, чтобы убедиться в действии известных законов изменения. Обратите внимание на уродливые фрески египтян или на китайские картины без теней. Неужели сравнение этой живописи с произведениями европейских артистов не указывает на различную впечатлительность рас? Сравните ваяние Афин, Индостана и Мексики. Неужели у одних нельзя заметить более развитого чувства прекрасного, чем у других? Перейдем к более знаменательным фактам, которые нам передаются историками и путешественниками; что мы должны подумать, когда прочтем, что у греков и римлян существовало божество, которое освящало и защищало всевозможные несправедливости? Или когда мы узнаем, что в Полинезии есть племена, которые полагают, что их боги питаются душами умерших? Свойства людей, на которые указывают подобные понятия о божестве, без сомнения, несколько отличаются от наших! Без сомнения, мы имеем право на некоторое существенное превосходство по сравнению с татарами, которые оставляли слабых родителей на произвол голодной смерти в степи, и над островитянами острова Фиджи, где члены одного и того же семейства должны были ограждаться от взаимных обманов. Англичанин не имеет обыкновения насыщаться поджаренным мясом пленного, подобно карибам<sup>16</sup>; он не будет есть, подобно жителю Абиссинии, трепещущий кусок

<sup>15</sup> раковины инфузорий – Спенсер имеет в виду моллюсков; инфузории, как и другие простейшие, раковин не имеют.

<sup>16</sup> карибы (карибы) – воинственный индейский народ, в период открытия Америки населявший остров Гаити, Малые Антильские острова и всю северную часть Южной Америки (бассейн реки Ориноко).

ляжки живого быка. Он не в состоянии, подобно краснокожему индейцу, наслаждаться корчами жертвы на костре. Он не способен, подобно жителю Индостана, сжечь свою жену, чтобы она в виде привидения преследовала его врага.

В каком же отношении можно утверждать, что человеческая природа всегда одинакова? Не по отношению ли к рациональности? Почему Анаксагор должен был бежать из своей страны, так как он позволил себе кощунство, утверждая, что солнце не есть колесница божества Гелиоса, тогда как ребенок часто беспокоит старших вопросом, кто сделал Бога? Не по отношению ли к справедливости? Нет. Скверно обращались в наше время с рабами, но никогда, подобно спартамцам, не возбуждали подкарауливать в засаде и убивать илотов<sup>17</sup> для упражнения. Не по отношению ли к честности? Каким же образом мы считаем, что «морской разбой был упражнением, промыслом, славой и добродетелью юношества Скандинавии», в то время как между нами частное пиратство порицается даже во время войны? Не по отношению ли к милосердию? Нисколько: хотя австрийская бойня и обесславилась Европу, но она не может быть сравнима с деяниями Чингисхана, который ознаменовал первую свою победу тем, что бросил семьдесят пленных в котлы с кипящей водой; или с поступками Тимура, который велел умертвить сто тысяч пленных индийцев и построить пирамиду из девяти тысяч человеческих голов в виду дымившихся развалин Багдада; ее нельзя также приравнять к Аттиле, который окончательно уничтожил и срыл семьдесят городов. Или, может быть, между людьми равенство по отношению к мстительности? Менее всего: с одной стороны, мы имеем Бегум Сумро, которая велела одну из своих танцовщиц замуровать в стене и поставить у этого места свою кровать, чтобы она могла слышать предсмертные вопли своей жертвы, а с другой – нашу королеву, которая просила, чтобы человек, стрелявший в нее, не был наказан телесно. Где же между людьми тождество? Мы видели, что его нет в действиях. Но, может быть, в правах и во взглядах на вещи? Наверное, нет. В наше время общество очень дурно приняло бы мужчину или женщину, о которых было бы известно, что они отравили своих врагов; в Италии же было время, когда подобные поступки не внушали презрения. Ни одно семейство в настоящее время не последует примеру Висконти и не выберет змею эмблемой своего герба. В девятнадцатом столетии мы не найдем ничего похожего на германского начальника наемников, который надписал у себя серебряными буквами: «Герцог Вернер, начальник великой дружины, враг милосердия, жалости и Бога».

Зачем искать далеко доказательств человеческой изменчивости? Разве мы не имеем достаточно примеров у себя дома? В прежние времена полагали, что для дворянина совершенно достаточно трубить в рог и ловко держать своего сокола, а учение и научное развитие предоставляли детям народа; в то время люди искали безопасности за толстыми стенами и глубокими рвами, тогда женщины носили кинжалы; можно полагать, что в те времена свойства людей были не вполне такие же, как теперь. Между тем как все номинально исповедовали ту же веру, которую исповедуем мы; пограничный житель всего усерднее обращался к своему молитвеннику, когда он отправлялся в набег; имена святых были боевым кличем; епископы благословляли своих последователей на войну, и умерщвление сарацин считалось верхом благочестия. Не следует ли допустить, что наша природа до известной степени изменилась, если мы ту же самую религию обратили в религию мира, религию филантропических усилий всякого рода, религию миссионерских подвигов, в защитницу умеренности, производящую исследования над участью «рабочего и бедного»? Разве агитация в пользу отмены смертной казни не показывает преобразования в человеческих чувствах с того времени, когда тело Кромвеля было вырыто и его голова воткнута перед Темплом? Разве не заметно перемены с того времени, когда людей колесовали, четвертовали и вешали? Разве не заметно перемены с тех пор, когда был в народе ропот, потому что Стаффорду позволили умереть прежде, чем он увидал

<sup>17</sup> илоты – в древней Спарте земледельцы, находящиеся на промежуточном положении между крепостными и рабами.

собственные свои кишки сожженными перед его глазами, – с того времени, когда скрип виселиц был повсеместен в стране, с того времени, когда церковные двери были покрыты кожами людей, совершивших святотатство? Мы читаем, что Джону Гаукинсу воздавалась *почесть* за то, что он первый начал торговлю рабами – за это в его гербе прибавлено было «полнегра, связанного надлежащим образом веревкой» – не следует ли заключить, что характер народа с того времени изменился, если мы обратим внимание на то, что в наш век из симпатии к неграм 300 000 человек решились отказаться от употребления всяких произведений Вест-Индии?

Наконец, в самом деле, нужно прийти к тому, что нелепо приводить доказательства для убеждения в подобной истине. Те, которые утверждают неизменяемость человеческой природы, непрерывно сами себя опровергают. Они постоянно доказывают свою непоследовательность, говоря о различии национальных свойств, об отличительных чертах душевного настроения их друзей и об особенностях в их собственных вкусах и чувствах. Подобные признания, сделанные ими невольно и случайно, совершенно уничтожают их учение. Но даже и в таких признаниях нет необходимости. Для этого не нужно сравнения между обычаями разных рас, между человеком, каков он есть и каким он был, между характерами и талантами различных индивидуумов. Человек, обладающий хоть некоторой проницательностью, убедится в бесконечной изменчивости человечества, делая наблюдения только над самим собой; он меняется сообразно обстоятельствам, изо дня в день и из года в год, в нем изменяются и чувства, и способности, и желания.

**§ 3.** Если человечество неопределенно изменчиво, то оно не может служить мерой для оценки нравственных истин. Мы видим, что учреждения, которые оказывались неприложимыми в известное время, процветали впоследствии; что законы и обычаи, которые оказывались когда-то спасительными, сделались зловредными, и у нас много оснований предполагать, что подобные изменения будут иметь место и впоследствии. Несообразность с состоянием людей и вещей, которая делает известные принципы, по-видимому, неприменимыми, может впоследствии исчезнуть; принципы, которые в настоящее время кажутся вполне приспособленными к нашему социальному положению, могут впоследствии быть с ним в дисгармонии. Если бы мы сделали ничем не оправдываемое предположение, что природа человеческая, которая до сих пор была изменчивой, впредь останется неизменной, то и в таком случае мы не могли бы опровергать систему этики на том основании, что она несогласна с современным состоянием человечества.

Такое опровержение было бы менее всего основательным; на подобное обнаружившееся несогласие мы не только не можем смотреть с предубеждением, но мы должны его ожидать; мы должны смотреть на него скорее как на доказательство истинности системы, чем как на указание ее ложности. Нелепо ожидать тождественности между абсолютными истинами нравственности и недостатками нравов и характеристических свойств современного состояния! Мы уже сказали выше, что система нравственности заключает в себе собрание правил, способных руководить человечеством в самом совершенном его состоянии, какое мы только можем себе представить. Всеобщее применение его правил предполагает идеальное общество. Каким же образом можно ожидать, чтобы они были в гармонии с идеями, действиями и учреждениями современных людей? Если мы говорим, что люди порочны, слабы, нестойки, то мы просто утверждаем, что они не в состоянии исполнять нравственных правил. «Несовершенство» – это просто другое слово, которое употребляется для обозначения понятия, что поведение не соотнобразится с нравственными требованиями. Согласие между истинным учением об обязанностях и несовершенным состоянием человечества невозможно, оно по природе вещей заключает в себе противоречие. Тот, кто в пользу своей системы этики приведет возможность ее полного и немедленного применения, этим самым неизбежно докажет ее ложность. Истинные руководящие принципы для человеческой деятельности делаются применимыми только по мере того,

как люди делаются совершенными; выражаясь с более правильной последовательностью мыслей, должно сказать: человек делается тем более совершенным, чем более он способен следовать нравственным правилам.

На последующих страницах мы разовьем учение, которое может быть найдено вполне согласным с учреждениями, среди которых мы живем. Читатель должен приготовиться к тому, что подобное несогласие не только не противоречит их истинности, но делает эту истинность более вероятной.

## *Лемма вторая*

§ 1. Как бы ни была велика неспособность несовершенного человека исполнять совершенный закон, но для него нет другого закона. Перед ним открыта только одна истинная дорога, и он или должен следовать по ней, или переносить последствия своего отступления. Условия существования не переменятся ради его испорченности, не смягчатся ввиду его слабости. Если им нарушены будут эти законы, то для него не сделано будет никакого исключения, и наказание, которое должно следовать, последует неизбежно. «Повинуйся или терпи» – вот вечно снова представляющийся человеку выбор; за отступлением непременно последует кара, тут не бывает помилования.

Между тем мы встречаем любимую поговорку известного рода народной философии, что «нет правила без исключения»; поговорка эта имеет такое же значение, как и все другие поговорки, употребляющиеся наряду с нею. Она окажется довольно справедливой, если ее применить к постановлениям государственной политики, к социальным учреждениям, к правилам карманной мудрости, к законам грамматики, искусств и этикета или к тем общеупотребительным афоризмам, которые в грубой форме выражают опыт ежедневной жизни; но она будет безусловно неверна, если ее применить к основным принципам вещей, общества и людей.

Законы природы, напротив, не имеют исключений. Кажущиеся исключения только кажутся таковыми и не существуют в действительности. Они показывают, что мы или не нашли истинного закона, или не сумели его вполне выразить. Притяжение земли определяется таким образом: «это есть стремление всех свободных тел к центру земли». Против этого делается победоносное возражение: «всех свободных тел, *за исключением* воздушного шара». Однако же оказывается, что воздушный шар вовсе не составляет исключения. Он поднимается вверх именно вследствие той же силы притяжения, вследствие которой падает камень. Мы не нашли исключения в законе, мы доказали только, что его определение не вполне ему соответствует. Против закона, что упражнение увеличивает силу, мы можем заметить, что если это правило вообще справедливо, то оно несправедливо по отношению к больным и увечным – для этих упражнение может быть губительным; правило это применимо только к здоровым, и то в известных пределах. Совершенная правда. Но эти ограничения были бы излишни, если бы закон был вполне правильно выражен. Если бы было сказано, что упражнение увеличивает силу во всех случаях, когда восстанавливающая деятельность способна возместить утраты, произведенные этим упражнением, тогда невозможно было бы отыскать никаких ограничений. Так называемые исключения находятся в нас самих, а не в природе вещей. Они показывают, что закон или ускользает от нашего понимания, или недоступен нашему умению его выразить.

При правильном понимании дела мы придем к убеждению, что прогресс от самого грубого невежества до самой высокой степени просвещения есть не что иное, как восхождение от ступени полного игнорирования законов природы до убеждения, что закон всеобщ и неизбежен. Распространяющийся круг сведений и постоянные индукции все более и более ограничивают старые идеи о специальной причинности. Каждое новое открытие в науке, каждое новое разъяснение аномалий утверждает людей в убеждении, что все явления происходят от общих единообразных сил. Наконец, путем постоянно повторяющихся наблюдений они начинают убеждаться, что действие этих сил не прекращается даже и во избежание самых ужасных переворотов. Они видят, что равновесие атмосферы восстанавливается, несмотря на то что вследствие бури целые флоты погружаются на дно морское. Они видят, что земля не ослабит свою притягательную силу, чтобы спасти деревню от лавины, которая ей угрожает. Они видят, что электричество следует по пути наименьшего сопротивления, несмотря на то что при этом разрушена будет церковь или взлетит на воздух судно. Они видят, что химическое сродство действует, не обращая внимания на то, что этим целый город обращен будет в груды пепла;

оно подействует и тогда, когда от извержения огнедышащей горы половина страны будет засыпана и затоплена, и тогда, когда через это погибнут сотни тысяч людей вследствие эпидемии. Всякое приращение в наших знаниях показывает, что постоянство есть существенный признак законов природы. Эта неизменность делает возможным определение с совершенной точностью затмения, отстоящего от нас на целое столетие! По причине такой безусловной неизменности законов природы мы их и находим безусловно хорошими. Сделать мир обитаемым – вот великая задача. Сравнительно малое зло, которое происходит от неизменности действия этих законов, ничтожно, если его сопоставить с бесконечным обеспеченным им благом. Нам нет надобности рассуждать о том, возможно или невозможно было устранить это зло. Для нас довольно знать, что неизменность – это закон, и нам остается только предположить, что это наилучший из всех законов.

§ 2. Такой представляется нам физическая природа, такой же представится и нравственная. Между людьми начинает распространяться убеждение, которое до сих пор оказывалось еще мало установившимся и недостаточно разъясненным; начинают понимать, что и в нравственной жизни существует неразрывная связь между причиной и следствием, неизбежная судьба – «закон, который не изменяется». Сбитые с толку разнообразными и вечно новыми формами человеческой жизни люди, естественно, не могли понять неизменное свойство законов природы. Увеличивающаяся масса сведений постепенно распространяет убеждение, что все, что делается в нравственном мире, в основании своем столь же мало случайно, как и то, что мы видим в мире материальном. Все это идет известным неизбежным путем и под влиянием неизбежных сил. Во все времена эта истина или предчувствовалась, или понималась, и опыт все с большей и большей точностью обрисовывает ее перед нашими глазами. Даже и теперь всякий так или иначе свидетельствует о своем согласии с подобным утверждением. Всякая новая вера служит подтверждением этой истины. Разве нравственные кодексы мусульман, индуистов, буддистов не заключают в себе столько же признаний неизбежной связи между поведением и его результатами? Не говорит ли вам каждый из них: не делайте того или другого, потому что это произведет зло; вам следует делать то-то и то-то, потому что от этого произойдет добро? Признание этого начала очевидно, несмотря на то, что проповедники вышеупомянутых верований не сумели от результатов дойти до настоящего их источника и, таким образом, ввели ложь в свое учение нравственности; они ясно обнаружили убеждение, что в человеческих делах существует неизменный закон причинности, что закон этот люди должны изучать и с ним они должны соотносываться. Самая высшая из известных религий, христианская – разве она не преподает нам то же учение? Разве христианство не учит нас, что известные поступки, навверное, приведут к известным результатам: злые дела поведут к наказанию, добрые – к награде, и что эти вещи неизбежно и неразрывно связаны? Веру в подобный неизбежный закон мы обнаруживаем в ежедневных наших разговорах, в наших правилах жизни, в наставлениях, которые мы даем, в воспитании наших детей, в советах нашим друзьям. Обсуждая вещи и людей, мы инстинктивно восходим к известным признанным нами принципам. Мы предсказываем, что то или другое правило будет иметь хорошие или дурные последствия, потому что мы в нем видим согласие или противоречие известным понятиям о законах жизни, которые нами составлены. Даже мелкий крючкотвор, несмотря на его поверхностный эмпиризм, несмотря на его проповеди презрения ко всем отвлеченным принципам, и тот имеет тайное сознание известных неизменных последствий, вытекающих из предыдущих происшествий; в сущности, он убежден в неизбежной силе той благодетельной необходимости, которая привязывает к каждому действию неизменно однообразный результат. Если бы это было не так, то в чем заключалась бы мысль предлагаемых им мер, его проектов законов? Он вовсе не считает их азартной игрой, которая может произвести и тот и другой результат. Если бы он был такого мнения, он бы легко соглашался со всяким планом. Ясно, что он понимает, что тут действуют постоянные причины,

что из каждого обстоятельства и из каждого столкновения обстоятельств выходят неизбежные последствия, что одинаковые условия порождают всегда одинаковые результаты.

Итак, если все уверены в постоянстве подобных второстепенных законов, то они, безо всякого сомнения, должны быть тем более убеждены в неизменности законов основных, на которых зиждется человеческое существование и из которых должны исходить обыденные, необходимые для нас истины. Признавая ветви, мы не можем отвергать корень. Если таково существо вещей, то мы вынуждены признать эту «благодетельную необходимость». Мы не имеем другого выбора. Социальная жизнь или имеет законы, или не имеет их. Если она их не имеет, то не может быть ни порядка, ни определенности, ни системы в ее проявлениях. Если она их имеет, то, подобно другим законам вселенной, они должны быть вечно действующими, точными и неизменными, они не могут иметь исключений.

§ 3. Беспредельно важно для нас удостовериться, в чем законы эти заключаются, и, удостоверившись, повиноваться им безусловно! Если они существуют действительно, то успеха в нашей деятельности мы можем ожидать только тогда, когда им подчинимся. Равновесие может иметь место только в той степени, в которое наше поведение будет согласно с правилами нравственности. Мы можем выстроить наше социальное здание со всевозможным старанием и искусством, мы можем крепко связать его хитро придуманными законами, но если у него во взаимных отношениях нет честных намерений, если оно не построено на справедливых принципах, то оно развалится на части. Идти против законов этики – все равно что пытаться льдом зажечь огонь, пасти скот на камнях, повесить свою шляпу на паутину; ее законы столь же непоколебимы, как и законы природы, против которых мы бы погрешили в этих случаях.

«Однако же все-таки есть исключения, – замечаете вы. – Мы не всегда можем строго следовать отвлеченным принципам. Благоразумные соображения должны при этом также иметь свое значение. Необходимо несколько политиковать».

Когда вы защищаете то или другое исключение, ваши причины, без всякого сомнения, весьма благовидны. Но если в предыдущих рассуждениях есть сколько-нибудь правды, то ни одно нарушение закона не может быть сделано безнаказанно. Обманчивы все эти любимые правила, где мы посредством маленьких отступлений, политикуя, стараемся достигнуть известных желанных благ. Если бы кто-нибудь сказал вам, что он изобрел механическую комбинацию, которая удваивает силу, не уменьшая скорости, вы бы ему ответили, что этого не может быть, что это противно законам материи и что невозможность этого доказана. Такой же ответ получил бы от вас человек, который вздумал бы вас уверять, что он нашел квадратуру круга, что он знает рецепт философского камня, что он может продать вам детскую сорочку, которая не позволит вам утонуть. Подобные предложения вполне схожи с вышеупомянутыми милыми правилами. Будьте уверены, что они заключают в себе такие же невозможности, как и предложенный вам образ действия, что они точно так же противоречат существенным законам жизни.

Для тех, кто мало верит неосязаемому, будет, конечно, трудно неуклонно следовать принципу, несмотря ни на какую угрожающую опасность, – отказаться от того, что им кажется лучшим, ради убеждения, что только то всего лучше, что должно признать справедливым на основании отвлеченных выводов, сказать: «Я хочу повиноваться закону, несмотря на то что, по видимому, он в этом случае не прав». Несмотря на это, таким образом следует поступать – это поведение, которое должно быть внушаемо всяким нравственным учением, единственное поведение, которым действительно можно удовлетвориться<sup>18</sup>.

---

<sup>18</sup> Кольридж ясно выражает такое убеждение. Он говорит: «Следующее существенно характеризует нравственную систему, которая постоянно проповедовалась «Другом»: ясное предвидение последствий составляет исключительную принадлежность беспредельной мудрости; мудрости, единой со всемогущей волей, от которой зависят все последствия; что касается до человека, то он должен повиноваться простому и безусловному предписанию, повелевающему избегать всякого поступка, в котором бы заключалось противоречие с самим собой, или, другими словами, производить и поддерживать возможно большую

§ 4. Если мы даже предположим, что известное отдельное действие, несогласное с нравственностью, не только не будет иметь дурных результатов, но даже породит хорошие, то мудрость этого действия все-таки не будет этим доказана. Следует еще обратить внимание на вероятные последствия дурного примера. Палей справедливо замечает, что «дурные последствия действия бывают двоякие: частные и общие», предполагая даже, что в частном случае сделано было добро, зато произведено несравненно большее зло, и открыта дорога к дальнейшему непослушанию. Подобная слабая вера не дает никакой безопасности. Одно нарушение закона оставляет за собой брешь для бесчисленных последующих преступлений. Если первый ложный шаг сделан был, по-видимому, безнаказанно, то неизбежно за ним последуют другие. Не следует верить школьному обещанию: «Я больше так не буду». Сделайте лазейку в принципе, допустив одно исключение, и под разными предлогами столько сквозь нее пройдет исключений, что они сделают самый принцип никуда не годным. Если мы внимательно проследим последствия таких действий, то окажется, что уклонения от нравственности в отдельных случаях под подобными предлогами превратились в источник всех зол, которые нас одолевают. Почти постоянно подобные причины приводятся в оправдание дурных поступков теми, которые их совершили. Сделавший безнравственное дело сознается, что его поступок не согласен с нравственными правилами, которых справедливость он сам признает; он сам разделяет убеждение, что эти нравственные правила в известной степени могут служить лучшим руководителем. Он, однако же, полагает, что его интересы побуждают его от времени до времени делать исключения. Все люди поступают таким образом, и вот результаты.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.